

# ОБРАЗ МУСУЛЬМАНИНА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ТРАДИЦИИ И «ТАТАРИН» В ПОВЕСТИ «ХАДЖИ-МУРАТ» ЛЬВА ТОЛСТОГО

Противопоставление православного христианства и мусульманства – тема, которая прослеживается в русской литературе начиная еще с народной эпики, с ее исторических песен. Падение Константинополя в 1453 году стало своего рода «водоразделом» в русской историографии. По политическим причинам недавно возникшее Московское государство решило объявить себя наследником и защитником истинного христианства в его византийском облике. Идея освобождения Константинополя, «центра мира», отныне веками будет преследовать русских властителей, даже когда христианская миссия со временем превратилась в геополитическую (свободный доступ к Средиземноморью)<sup>1</sup>.

В литературе первые знаки оппозиции между русскими христианами и мусульманами можно наблюдать в исторических песнях, созданных сказителями – носителями устной традиции. Многие из этих песен рассказывают о завоевании Казани, самого северного татарского ханства. Героем в этих песнях выступает Иван IV, которому удалось победить татарского хана в 1552 году. В песне поется об осаде Казани войсками Ивана

---

<sup>1</sup> Полководец А. В. Суворов создал в 1793 году план войны, завершением которого должен был стать штурм Константинополя. Тогда этот план не был осуществлен, но он был возобновлен во время войны с Турцией 1828–1829 годов генералом И. И. Дибичем и утвержден Николаем I. Но, так как русская армия с большими потерями перебралась через Балканы только весной 1829 года и сил для похода на Константинополь не было, поход был отменен. Мир был заключен в Адрианополе. Идея занятия Константинополя всплыла опять в 1876 году в ходе новой войны с Турцией 1877–1878 годов, но, несмотря на масштабность задействованных военных сил, на этот раз не удался даже переход через Балканские горы [Кипнис 2006: 6–17].

Грозного, о надменности татар и о страшном наказании, которому они подвергаются, попав в плен. Самого хана ослепили, но его жена, которая приветствует Ивана «хлебом и солью», будет спасена. Ее обращают в христианство в монастыре.

Что царица Елена догадалась,  
Она сыпала соли на ковригу,  
Она с радостью московского князя встречала,  
А того ли Ивана сударь Васильевича прозрителя.  
И за то он царицу пожаловал  
И привел в крещеную веру,  
В монастырь царицу постригли.  
И за гордость царя Семиона,  
Что не встретил великого князя,  
Он и вынял ясны очи косицами.

[Русская историческая песня 1987: 57–58]

Как известно, эпические песни сказывались веками и были записаны только в XIX веке.

Но в XVIII веке, когда создавалась Российская империя и страна увеличивала территорию за счет своих соседей, главным из которых была Османская империя, в литературе снова наблюдается рост интереса к противопоставлению христианских «россов» и неверных «татар». Важным примером могут служить оды, воспевающие политически значимые события – такие, как восшествие на престол властителя или победу в сражении с врагом, завоевание его крепостей, приводящее к передвижению государственных границ. Торжественная одическая поэзия закладывает основу особенной символики, которая затем передается из поколения в поколение.

Знаменательно, что одно из *первых* литературных произведений на *русском* языке поднимает тему войны между Османской империей и Россией. В 1739 году Михаил Ломоносов находится в Германии, изучает естественные науки как стипендиат Российской академии наук. Там он узнает о взятии российскими войсками крепости Хотин на берегу Днестра и, вдохновленный русской победой, сразу же пишет «Оду блаженныя памяти государыне императрице Анне Иоанновне на победу над турками и татарами и на взятие Хотина 1739 года». В поэме Ломоносова

турки названы «татарами» по сходству их вероисповедания – мусульманства.

К российской силе так стремятся,  
Кругом объехав, тьмы татар;  
Скрывает небо конской пар!  
Что ж в том? стремглав без душ валятся.  
[Ломоносов 1986: 62]

Турки к тому же представляются «родом отверженной рабы», (образ, восходящий к Агари, матери Измаила (Бытие 16: 21)), в то время как русские названы «избранным народом». Ломоносов вводит в свою оду фигуры двух русских царей, а именно Ивана Грозного и Петра Великого, тем самым воспевая взятие Казани Иваном и военные действия Петра в регионе Черного моря (Азовская кампания). Они участвуют в битве при Хотине *духовно*, «с небес».

Небесная отверзлась дверь,  
Над войском облак вдруг развился,  
Блеснул горящим вдруг лицом,  
Умытым кровию мечем  
Гоня врагов, Герой открылся.  
<...>  
Не сей ли при Донских струях  
Рассыпал вредны россам стены?  
<...>  
Кругом его из облаков  
Гремящие перуны блещут,  
И чувствуя приход Петров,  
Дубравы и поля трепещут.  
Кто с ним толь грозно зрит на юг,  
Одеян страшным громом вкруг?  
Никак Смиритель стран Казанских?  
[Ломоносов 1986: 64]

Цари-герои воспеваются как основоположники великой России, которой «целой свет» будет бояться.

Герою молвил тут Герой:  
«Нетщетен я с тобой трудился.  
Нетщетен подвиг мой и твой,  
Чтоб россов целой свет страшился.  
Через нас предел наш стал широк  
На север, запад и восток.

[Ломоносов 1986: 65]

Ломоносов вводит в поэму установившуюся символику — луна обозначает турков, орел — русских. Бег турков срамит саму луну:

Тогда увидев бег своих,  
Луна стыдилась сраму их  
И в мрак лице, зардевшись, скрыла.

Но для наглядности Ломоносов усиливает образ врага, сравнивая его с былинной «змией», над которой кружится победительная «росская Орлица»:

Как в клуб змия себя крутит,  
Шипит, под камень жало кроет.  
<...>  
Пред росской так дрожит Орлицей,  
Стесняет внутрь Хотин своих.

[Ломоносов 1986: 66]

Ломоносов послал свое сочинение в Академию, в Петербург, но там решили его не публиковать, так как уже шли переговоры с турками о мире. Но когда Ломоносов со временем стал не только «первым русским писателем», но и «первым русским ученым», его Ода вошла во все антологии и учебники русской литературы. Она стала прообразом особой патриотической литературы.

Спустя пятьдесят лет после Ломоносова поэт Гавриил Державин поет свое *laudatio* русской военной силе в поэме «На Взятие Измаила» — крепости на берегу Дуная, взятой штурмом в 1790 году. Появляются снова эмблематические «орел» и «луна»: на небе царствует российский символ, между тем как мусульманская луна уходит в тень:

*Барбара Леннквист*

О россы! твоя лишь добродетель  
Таких великих дел содетель;  
Лишь твой орел луну затмил.

<...>

Луна полна на башнях крови,  
Поникли гордой Мекки брови;  
Стамбул склонился вниз челом.

[Державин 1987: 53]

Россия представляется «северным светом», нестерпимым для «Магомета»:

Уже от северного света  
Лице бледнеет Магомета,  
И мрачный отвратил он взор.

[Державин 1987: 54]

Миссия россов ясна – Державин формулирует ее в виде риторического вопроса:

Иль россов идет дух военный,  
Христовой верой провожденный,  
Ахейя спасти, агарян стерть?

[Державин 1987: 54]

Русскому военному духу, вдохновленному христианской верой, предназначено спасти греков («ахейя») и разбить турок («сыновой Агари»).

Величие России воспевается на разные лады вокруг «несокрушаемого колосса», завоевавшего Крым и побережье Черного моря, вырос «лавровый лес», и скоро он ступит на «среду вселенной» (Константинополь/Стамбул):

Зрю вкруг тебя лавровый лес;  
Кавказ и Тавр ты преклоняешь,  
Вселенной на среду ступаешь  
И досязаешь до небес.

[Державин 1987: 54]

Образ «небесной обители» как символа Константинополя/Византии указывает на его роль в православной традиции и вызывает в памяти предание о посещении послами князя Владимира Софийского собора во время Крещения Руси: «и не знали — на небе или на земле мы: ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой» [Повесть временных лет 1978: 123]. Принимая восточное христианство, русские приобщались к «небу», «досязали до небес».

Но в поэме Державина соединяется христианская миссия («стереть агарян», сидящих на византийском престоле) с имперскими амбициями России. В сферу интересов Российского государства уже вовлечен Кавказ:

Кому в величестве нет равных,  
Возросший на полсвете рос!  
Кавказ и Тавр ты преклоняешь.  
[Державин 1987: 54]

Военное завоевание Кавказа продолжается приблизительно до 1860 года. Обращу тут внимание только на одно произведение в том потоке «кавказской литературы», которая распространяется в русских журналах, особенно в 1830-х и 1840-х годах<sup>2</sup>. Выбор стихотворения «Казачья колыбельная песня» Михаила Лермонтова вызван тем, что эта небольшая поэма широко тиражировалась начиная со времени ее первой публикации. Благодаря своей фольклорной форме она даже преобразовалась в настоящий фольклор. Еще во второй половине XIX века, как свидетельствуют фольклористы, неграмотные деревенские люди пели ее<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Хороший обзор всей «кавказской литературы» дан в книге С. Лейтон [Layton 1994]. Автор обращает внимание не только на произведения известных писателей, но и на второстепенные «офицерские рассказы», опубликованные в журналах.

<sup>3</sup> Историю фольклоризации текста Лермонтова разбирает В. Головин [Головин 2000]. Стихи Лермонтова широко распространились в учебниках и песенниках в XIX веке. Чтение наизусть на школьном экзамене было обязательным правилом, и текст Лермонтова значился в одном списке с другими 15 хрестоматийными текстами. Аттестат об окончании даже одногодичной школы в начале XX века сокращал службу в армии на один год (4 года вместо 5 лет), двухлетней — на два года. Таким образом, юноши могли заработать себе воинские льготы знанием этих текстов [Головин 2000: 385–392].

Если поэмы Ломоносова и Державина предназначены для декламации на государственных торжествах, то в стихах Лермонтова воспроизводится совершенно противоположная традиция. Стихи написаны в жанре колыбельной, с фольклорным припевом «баюшки-баю». В них описывается интимная, домашняя обстановка, где мать-казачка пением усыпляет своего сына. Как это характерно для фольклора, в словах матери выражаются ее пожелания, связанные с будущим ребенка. «Колыбельная» была опубликована в 1840 году, когда русские военные действия на Кавказе были в разгаре. В песне появляется опасная река Терек с ее мутными водами («По камням струится Терек, / Плещет мутный вал» [Лермонтов 1954: 140]). Но еще более опасного врага встречаем в следующих строках: «Злой чечен ползет на берег, / Точит свой кинжал» [Лермонтов 1954: 140]<sup>4</sup>. Мать-казачка успокаивает ребенка, которому суждено воевать «в чужом краю». Спасительным талисманом у ребенка будет святая иконка, которую вручает ему мать перед его уходом на войну:

Стану думать, что скучаешь  
Ты в чужом краю  
<...>  
Дам тебе я на дорогу  
Образок святой:  
Ты его, молясь Богу,  
Ставь перед собой <...>  
[Лермонтов 1954: 141]

Стихи Лермонтова не имеют той политической заостренности, какую встречаем в одах XVIII века. У Лермонтова встреча с мусульманским «востоком» была сложнее и многообразнее, о чем свидетельствуют другие его произведения, такие, как «Мцыри» или «Герой нашего времени». Заимствованный у Байрона образ мусульманина, каким он представлен в поэмах «Гяур» и «Абидосская невеста»<sup>5</sup>, преобразовался на русской почве

<sup>4</sup> Эпитет «злой» является определением «чеченца» у Лермонтова и в стихотворении «Дары Терека». О казаке, грустившем по убитой казачке, сказано: «Оседлал он вороного, / И в горах, в ночном бою, / На кинжал чеченца злого / Сложит голову свою» [Лермонтов 1954: 130].

<sup>5</sup> Еще в 1830 году Лермонтов сделал ученический перевод некоторых частей поэмы Байрона «Гяур» [Лермонтов 1954: 242–245].

в свободолюбивого горца, для которого вера является стержнем в стремлении к изгнанию врага. Но экзотический характер чужой веры и чужих обычаев оставался важной чертой и у Лермонтова. Вслед за Пушкиным и Марлинским Лермонтов неизменно подчеркивает «другую натуру» кавказского врага, его необузданность, непримиримость, страстность.

Когда Толстой приехал в Чечню в 1851 году, ему было 23 года. Он сразу начал писать «этнографические скетчи» о крае, о людях. Изучал «татарский язык», записал чеченские песни (женские). В рукописи «Записки о Кавказе. Поездка в Мамакай-юрт» он начинает «деконструкцию» экзотичности Кавказа:

Чтобы поставить воображение читателя на ту точку, с которой мы можем понимать друг друга, начну с того, что черкесов нет – есть чеченцы, кумыки, абазехи и т. д., но черкесов нет. Чинар нет, есть бук, известное русское дерево, голубоглазых черкешенок нет (ежели даже под словом черкесы разумеь собирательное название азиатских народов) и мало ли чего еще нет [Толстой 2002: 208].

Вскоре его рассказ «Набег. Рассказ волонтера» будет опубликован в Москве, и там критическое перо писателя уже направлено против войны. Он хочет знать, как она ведется и что побуждает людей идти на войну.

Во время написания своего рассказа Толстой читал «Описание войны 1813 года» Михайловского-Данилевского, и это чтение вызвало у него большое недовольство – не то описано, что надо. Толстовский молодой волонтер мучится такими вопросами, как «что такое храбрость?» и «каким образом и под влиянием какого чувства убил один солдат другого?». Война означает убивать, резать – вот к чему приходит Толстой на Кавказе, и вопрос о том, что приводит людей к войне, не оставляет его никогда. Этот вопрос пронизывает весь роман «Война и мир», появляется он и в последней части «Анны Карениной». То, что Вронский едет воевать в Сербию, по сути, является лишь камуфлированным самоубийством.

Но и опыт военных действий в 50-х годах XIX века против кавказских горцев не забывался Толстым. В 1890-е годы, когда он уже ставил под вопрос смысл создания художественной литературы, он неожиданно взялся за кавказскую тему, за много-



летнюю чеченскую войну, которую вел имам Шамиль против царских властей. Работа над документальным романом заняла у Толстого десяток лет<sup>6</sup>. Последняя записка о нем относится к 1904 году. Опубликован роман был посмертно, в 1912 году. Но в издании, вышедшем тогда в России, были сделаны большие купюры в главе о Николае I и пропущена семнадцатая глава о разоренном ауле. Однако в берлинском издании того же года были восстановлены все цензурные пропуски.

История «Хаджи-Мурата» основана на настоящих событиях в Чечне, завоевание которой началось в 1818 году с построения крепости Грозная и закончилось с пленением Шамиля, вождя горцев. Его взяли в плен в 1859 году, затем он был привезен в Калугу, в ссылку, но оттуда его выпустили в 1870 году для паломничества в Мекку, где он умер в следующем году в возрасте 73 лет.

Война в кавказских горах была жестокой, особенно в 1840-х годах. Осада дагестанской деревни Салты в 1847-м году продлилась 52 дня, потери среди русских офицеров составляли несколько сотен, и больше двух тысяч солдат «низшего ранга» были убиты в ходе этой операции. Так как русская армия с большим трудом пробивала себе дорогу через горы, было решено произвести вырубку леса и построить крепости по всей территории Чечни и Дагестана. Был дан указ истребить все запасы продовольствия, которые армия нашла в деревнях, т. е. бить по гражданскому населению, которое укрывало горских бойцов.

В разгромной критике царя Николая Толстой указывает на эту сторону войны:

Несмотря на то, что план медленного движения в область неприятеля посредством вырубки лесов и истребления продовольствия был план Ермолова и Вельяминова, совершенно противоположный плану Николая, по которому нужно было разом завладеть резиденцией Шамиля и разорить это гнездо разбойников и по которому была принята в 1845 году Даргинская экспедиция, стоившая стольких

---

<sup>6</sup> См. подробную историю создания романа с привлечением того документального материала, которым пользовался Толстой, в: [Толстой 1950: 583–629]. Многочисленные варианты некоторых глав указывают на тщательное обдумывание писателем личностей Хаджи-Мурата и царя Николая I.

людских жизней, — несмотря на это, Николай приписывал план медленного движения, последовательной вырубке лесов и истребление продовольствия тоже себе. Казалось, что, для того чтобы верить в то, что план медленного движения, вырубке лесов и истребления продовольствия был его план, надо было скрывать то, что он именно настаивал на совершенно противоположном военном предприятии 45-го года. Но он не скрывал этого и гордился и тем планом своей экспедиции 45-го года, и планом медленного движения вперед, несмотря на то, что эти два плана явно противоречили один другому. Постоянная, явная, противная очевидности лесть окружающих его людей довела его до того, что он не видел уже своих противоречий, не сообразовал уже свои поступки и слова с действительностью, с логикой или даже с простым здравым смыслом, а вполне был уверен, что все его распоряжения, как бы они ни были бессмысленны, несправедливы и несогласны между собою, становились и осмысленны, и справедливы, и согласны между собой только потому, что он их делал [Толстой 1964: 97].

Виртуозно пользуясь бюрократическим языком, языком постановлений и декретов, Толстой разоблачает военную машину высших кругов власти, их отчуждения от действительности.

Делая перебежчика Хаджи-Мурата главным персонажем повести, Толстой не становится ни на чью сторону в кавказском конфликте. Он свободно критикует русского царя-властителя и его армию так же беспощадно, как и Шамиля и его горских бойцов. Толстого интересует вопрос: что побудило Хаджи-Мурата оставить Шамиля и перейти к русским? Толстому становится понятно, что такое решение Хаджи-Мурат принял вследствие перенесенного им со стороны Шамиля *унижения* и совершенного тем предательства. В описании горской культуры Толстой указывает на важность чести и личного достоинства. На унижение другого человека смотрят как на смертельный грех, требующий возмездия. Но Толстой не возводит Хаджи-Мурата в ранг героя, у которого нет на совести крови других людей. Он дает Хаджи-Мурату слово, и тот рассказывает *сам* о своих убийствах. Внимание Толстого направлено на *изучение внутренней жизни* человека, замешанного в кавказской войне. Зачем он так действует? Что побудило его к таким решениям?

В сцене с русским царем мы понимаем, что царь решает наказать студента, напавшего на своего профессора с перочинным ножиком, непомерно жестоко — двенадцать тысяч шпицрутенов равносильны смерти — просто из-за того, что студент поляк. Польское происхождение студента вызывает у царя воспоминание о польских повстанцах 1830 года, и ничтожное преступление студента становится вровень с восстанием против государственной власти. Самовластие царя делает государственное правосудие зависимым от личных психологических травм Николая.

Но на личных чувствах и переживаниях основаны и действия Хаджи-Мурата. Он рассказывает Лорису-Меликову, адъютанту наместника Воронцова:

Я написал ему [русскому генералу Клюгенау], что чалму я носил, но не для Шамиля, а для спасения души, что к Шамилю я перейти не хочу и не могу, потому что через него убиты мои отец, братья и родственники, но что и к русским не могу выйти, потому что меня обесчестили. В Хунзахе, когда я был связан, один негодяй на...л на меня. И я не могу выйти к вам, пока человек этот не будет убит. А главное, боюсь обманщика Ахмет-Хана. <...> Мне, главное, надо было отомстить Ахмет-Хану, а этого я не мог сделать через русских. В это же время Ахмет-Хан окружил Цельмес и хотел схватить или убить меня. У меня было слишком мало народа, я не мог отбиться от него. И вот в это же время приехал посланный от Шамиля с письмом. Он обещал помочь мне отбиться от Ахмет-Хана и убить его и давал мне в управление всю Аварию. Я долго думал и перешел к Шамилю. И вот с тех пор я не переставая воевал с русскими [Толстой 1964: 84].

Мы видим, что Хаджи-Мурат руководствуется в своих действиях кровной мезьью и идеей возмездия за унижение, клевету и вероломство. Он не может жить без того, что он понимает под человеческим достоинством. И его решение покинуть Шамиля и перейти к русским также вызвано утратой доверия, лживыми обвинениями и похищением имущества. Но главная причина его конфликта с Шамилем состоит в его *непризнании власти* Шамиля.

Но тут случилось то, что у меня спросили, кому быть имамом после Шамиля? Я сказал, что имамом будет тот, у кого шашка востра.

Это сказали Шамилю, и он захотел избавиться от меня [Толстой 1964: 84].

*Унижение* как главный рычаг возбуждения ненависти исследуется в повести Толстого не только на уровне обстоятельств жизни конкретных персонажей. Картина разорения чеченской деревни после набега русских солдат ужасает своими подробностями. Особенно бессмысленными кажутся ломка и сжигание фруктовых деревьев, так долго выхаживаемых и так трудно восстанавливаемых.

Аул, разоренный набегом, был тот самый, в котором Хаджи-Мурат провел ночь перед выходом своим к русским:

Садо, у которого останавливался Хаджи-Мурат, уходил с семьей в горы, когда русские подходили к аулу. Вернувшись в свой аул, Садо нашел свою саклю разрушенной: крыша была провалена, и дверь и столбы галерейки сожжены, и внутренность огажена. Сын же его, тот красивый, с блестящими глазами мальчик, который восторженно смотрел на Хаджи-Мурата, был привезен мертвым к мечети на покрытой буркой лошади. Он был проткнут штыком в спину. Благообразная женщина, служившая, во время посещения, Хаджи-Мурату, теперь, в разодранной на груди рубахе, открывавшей ее старые, обвисшие груди, с распущенными волосами, стояла над сыном и царапала себе в кровь лицо и не переставая выла. Садо с киркой и лопатой ушел с родными копать могилу сыну. Старик дед сидел у стены разваленной сакли и, строгая палочку, тупо смотрел перед собой. Он только что вернулся с своего пчельника. Бывшие там два стожка сена были сожжены; были поломаны и обожжены посаженные стариком и выхоженные абрикосовые и вишневые деревья и, главное, сожжены все ульи с пчелами. Вой женщин слышался во всех домах и на площади, куда были привезены еще два тела. Малые дети ревели вместе с матерями. Ревела и голодная скотина, которой нечего было дать. Взрослые дети не играли, а испуганными глазами смотрели на старших. Фонтан был загажен, очевидно нарочно, так что воды нельзя было брать из него. Так же была загажена и мечеть, и мулла с муталимами очищал ее.

Старики хозяева собрались на площади и, сидя на корточках, обсуждали свое положение. О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было

сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения [Толстой 1964: 106–107].

С беспристрастностью документалиста Толстой описывает разоренную деревню чеченцев, и только в конце, представляя их чувства, он вводит в свой текст *их* слова: «этих русских собак».

Однако судьба Хаджи-Мурата решена, когда он покидает русскую крепость, где его жизнь становилась все более тюремной. Пребывание у русских убедило его наконец, что они не собираются помочь ему в ссоре с Шамилем, а сам Шамиль, который держит семью Хаджи-Мурата в заложниках, угрожает со своей стороны ослепить сына или прямо убить его.

Когда Хаджи-Мурат выезжает из крепости, он выбирает неправильный путь и вязнет в болоте со своими нукерами. Они спасаются на сухом островке с рощей, но там их окружают преследователи. Хаджи-Мурат сбился с пути – и в этом есть символическая параллель его положению в сложном кавказском конфликте. И в последнем смертельном бою к русским милиционерам присоединяются еще чеченцы, перешедшие в русский лагерь. Среди них и Гаджи-Ага, «когда-то кунак Хаджи-Мурата».

Когда первый подбежавший к нему Гаджи-Ага ударил его большим кинжалом по голове, ему казалось, что его молотком бьют по голове, и он не мог понять, кто это делает и зачем. Это было последнее его сознание связи с своим телом. Больше он уже ничего не чувствовал, и враги топтали и резали то, что не имело уже ничего общего с ним. Гаджи-Ага, наступив ногой на спину тела, с двух ударов отсек голову и осторожно, чтобы не запачкать в кровь чувяки, откатил ее ногою. Алая кровь хлынула из артерий шеи и черная из головы и залила траву [Толстой 1964: 147–148].

Страшный поступок чеченца Гаджи-Ага, совершенный над другим чеченцем Хаджи-Муратом, – отрубание головы – говорит о полном отказе считать бывшего друга-кунака достойным

противником. Хаджи-Мурат отвержен самым постыдным образом, и с ним обошлись как с заклятым врагом.

Алая и черная кровь, хлынувшая из тела Хаджи-Мурата, соединяет конец повести Толстого с ее началом, где автор описывает красного цвета репей, который по-народному называется «татарин».

Я набрал большой букет разых цветов и шел домой, когда заметил в канаве чудный малиновый, в полном цвету, репей того сорта, который у нас называется «татарин» и который старательно окашивают, а когда он нечаянно скошен, выкидывают из сена покосники, чтобы не колоть на него рук [Толстой 1964: 23].

Очарованный красным цветком, автор старается сорвать его и приложить к своему букету полевых цветов. Но это ему удается с трудом:

мало того что стебель кололся со всех сторон, даже через платок, которым я завернул руку, — он был так страшно крепок, что я бился с ним минут пять, по одному разрывая волокна. Когда я, наконец, оторвал цветок, стебель уже был весь в лохмотьях, да и цветок уже не казался так свеж и красив. <...> Я пожалел, что напрасно погубил цветок, который был хорош в своем месте, и бросил его [Толстой 1964: 23–24].

Автор продолжает свою дорогу через вспаханное черное, мертвое поле и размышляет: «Экое разрушительное, жестокое существо человек, сколько уничтожил разнообразных живых существ, растений для поддержания своей жизни» [Толстой 1964: 24]. Но тут он еще раз сталкивается с «татарин», и на этот раз в описании Толстого цветок приобретает явно человеческий облик:

Куст «татарина» состоял из трех отростков. Один был оторван, и, как *отрубленная рука*, торчал остаток ветки. На других двух было на каждом по цветку. Цветки эти когда-то были красные, теперь же были черные. Один стебель был сломан, и половина его, с грязным цветком на конце, висела книзу; другой, хотя и вымазанный черноземной грязью, все еще торчал кверху. Видно было, что весь кустик

был переехан колесом и уже после поднялся и потому стоял боком, но все-таки стоял. Точно *вырвали у него кусок тела, вывернули внутренности, оторвали руку, выкололи глаз* [Толстой 1964: 24] (Курсив мой. — Б. Л.).

Истерзанный и погубленный цветок «татарин» находит свою параллель в описании умирающего Хаджи-Мурата и в глумлении над ним — уже мертвым. Офицер, донской казак, объезжает русские крепости и показывает отрезанную голову Хаджи-Мурата:

Это была голова, бритая, с большими выступами черепа над глазами и черной стриженной бородкой и подстриженными усами, с одним открытым, другим полузакрытым глазом, с разрубленным и недорубленным бритым черепом, с окровавленным запекшейся черной кровью носом. Шея была замотана окровавленным полотенцем [Толстой 1964: 138].

Реагируют на страшную голову по-разному, но когда русский офицер Бутлер хочет объяснить поведение казака (который, разумеется, действует по приказу начальства) военной ситуацией («на то война»), он получает отпор от Марьи Дмитриевны, сожительницы военного начальника Петрова:

— Война! — вскрикнула Марья Дмитриевна. — Какая война? Живорезы, вот и все. Мертвое тело земле предать надо, а они зубоскалят [Толстой 1964: 139].

Среди одичалых солдат только *женщина* реагирует по-человечески на осквернение тела мертвого Хаджи-Мурата.

От «татар», покоренных Иваном Грозным в Казани и изображенных в русских исторических песнях, до «татарина» в повести Толстого тянется цепь врагов Российского государства. Под именем «татарин» кроются разные народы, объединенные мусульманством. От чисто внешне описанного «османского татарина» в одах XVIII века до «кавказского татарина» XX века с его страстной свободолюбивой натурой проделан немалый путь. Но только Лев Толстой сумел преодолеть литературную *условность* и некую *чужеродность* «вечного врага». Показывая Хаджи-Мура-

та в разных ситуациях, в общении с разными людьми по обе стороны военного конфликта, он открывает нам сложную психологию человека-татарина. Вводя в свою повесть подробное описание среды властвующих, как царя Николая, так и Шамиля, Толстой расшатывает границу между врагом и не-врагом. Именно властители, руководимые тщеславием и неограниченным самомнением, оказываются виновными в трагической судьбе многих тысяч людей.

2008

### Литература

- Головин В. Русская колыбельная песня в фольклоре и литературе. Åbo, 2000.
- Державин Г. Р. Сочинения. Л., 1987.
- Кипнис Б. Г. План войны против Турции, продиктованный А. В. Суворовым инженер-подполковнику де-Волану, и развитие содержащихся в нем идей в планах и ходе войн России с Османской империей в XIX столетии // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусства. 2006. Вып. 1(4). С. 6–17.
- Лермонтов М. Ю. Сочинения: В 6 т. М.; Л., 1954. Т. II.
- Ломоносов М. В. Избранные произведения. Л, 1986. (Серия «Библиотека поэта»).
- Повесть временных лет // Памятники литературы Древней Руси: Начало русской литературы. XI – начало XII в. М., 1978. С. 22–277.
- Русская историческая песня. Л., 1987. (Серия «Библиотека поэта»).
- Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений: В 100 т. М., 1950. Т. XXXV.
- Толстой Л. Н. Собрание сочинений: В 20 т. М., 1964. Т. XIV.
- Толстой Л. Н. Художественные произведения: В 18 т. // Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений: В 100 т. М., 2002. Т. II.
- Layton S. Russian Literature and Empire: Conquest of the Caucasus from Pushkin to Tolstoy. New York, 1994.